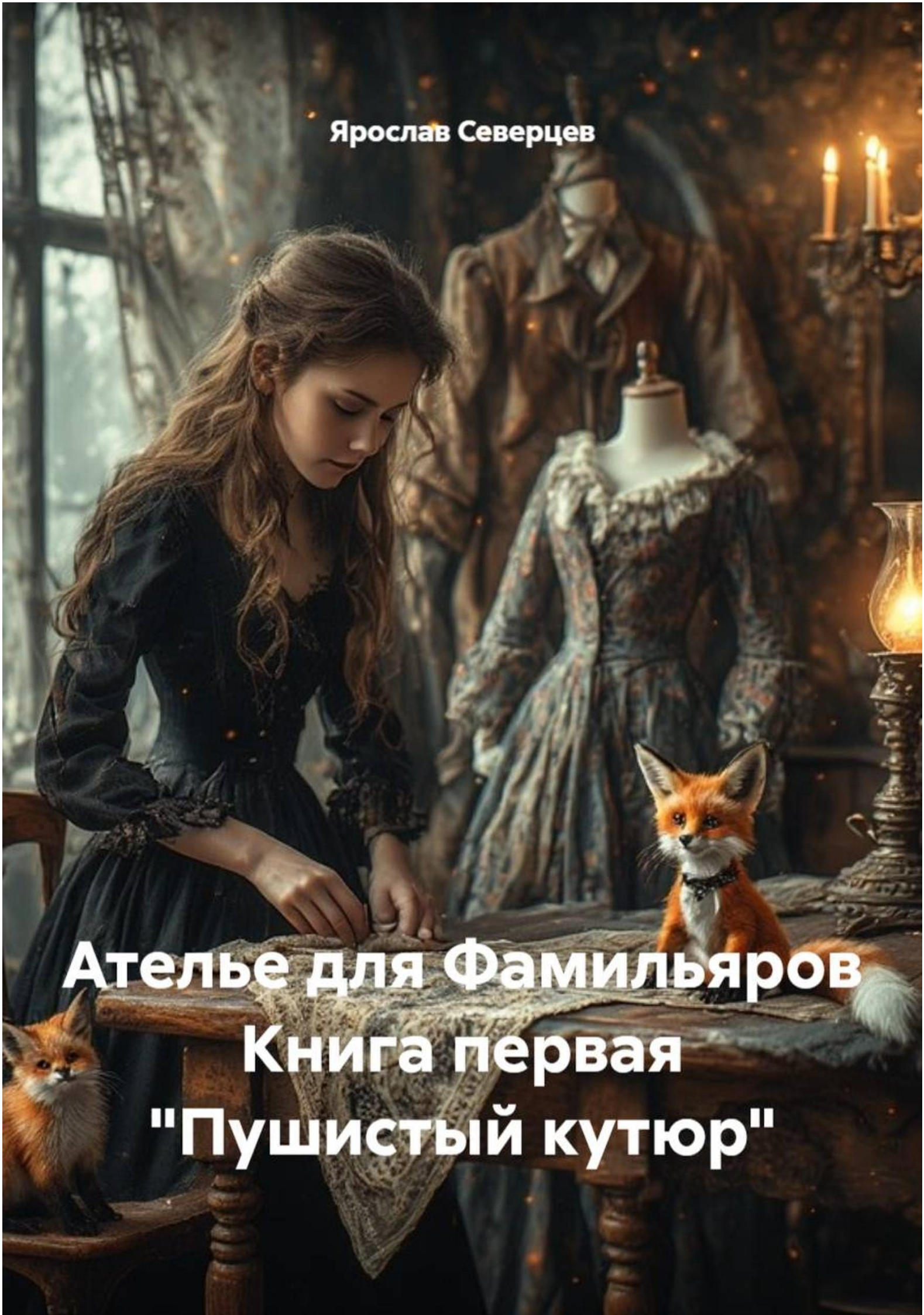
Ярослав Северцев



Ателье для Фамильяров
Книга первая
"Пушистый кутюр"

Ателье для Фамильяров

Ярослав Северцев

Ателье для Фамильяров Книга первая "Пушистый кутюр"

«Автор»
2026

Северцев Я.

Ателье для Фамильяров Книга первая "Пушистый кутюр" /
Я. Северцев — «Автор», 2026 — (Ателье для Фамильяров)

Она — успешный московский кутюрье. Он — её новое «я» в виде толстого кремового мыша-сноба с безупречным вкусом.Виктория Морозова, королева подиумов и владелица швейной империи, погибает в падающем лифте и приходит в себя в теле нищей сироты Агафьи в Петербурге 1890-х. Единственное, что у неё осталось от прошлой жизни — холодный ум бизнес-леди и страсть к высокой моде.Но здесь есть магия. У каждого человека есть фамильяр — живое отражение души. И эти звери одеты чудовищно!Вика открывает Дом моды «Павлин и Ко», чтобы переодеть всю империю. Вместе с ней — её наглый, остроумный и невероятно харизматичный сопрезидент Марципан. Их ждут купеческие интриги, шпионские заказы от министерства, царские капризы и битва с французским кутюрье.Смесь «Великого Гэтсби» с хвостом, и «Дьявол носит Prada» в царской России и искромётного юмора. Милан отдыхает, Париж в шоке, Охта на ушах!

© Северцев Я., 2026
© Автор, 2026

Ярослав Северцев
Ателье для Фамильяров Книга первая "Пушистый кутюр"

Глава I. Зеркала и бездна

В ту самую минуту, когда зеркальные, до зеркального же блеска отполированные двери этого нового, лишенного всякого человеческого тепла и скроенного по последней заграничной моде подъемника плавно, с едва слышным электрическим жужжанием сомкнулись, отсекая Викторию Арнольдовну от суетливого, тщеславного и в сущности своей глубоко бессмысленного шума её собственного швейного заведения, она испытала то особенное, хорошо знакомое всем усердным, одиноким и уставшим от собственного успеха людям чувство мимолетного удовлетворения, которое, однако, всегда смешивалось в её чуткой душе с тайной, необъяснимой тревогой о будущем. Лидочка, её личная ассистентка, чье миловидное, но глуповатое и плоское лицо еще мгновение назад выражало крайнюю степень того девического, рабского почтения, какое обычно питают мелкие служащие к своим благодетелям, что-то тонко, пронзительно и совершенно некстати закричала сквозь закрывавшийся проем о новых поставках искусственного китайского меха, – *ce pauvre poil de Chine*, как с неизменной брезгливостью называл его их старый, пресыщенный своим ремеслом главный закройщик, – но Виктория Арнольдовна уже не слушала её. Она стояла неподвижно, устремив свой строгий, испытующий взгляд в зеркальную стену кабины, где отражалась её собственная, безупречно одетая в дорогой брючный костюм от Valentino фигура, и думала о том, как странно, как глубоко несправедливо и фальшиво устроена вся эта современная жизнь. Ей думалось о том, что женщина, достигшая, казалось бы, высшей степени независимости, богатства и общественного признания, в сущности своей остается лишь заложницей бесконечной, изнуряющей комедии, где она вынуждена ежеминутно доказывать свое право на это признание людям, которые неспособны отличить истинного, благородного лионского бархата от дешевой подделки из полиэстера.

Кабина подъемника, мерно подрагивая, скользила вниз, мимо залитых электрическим светом этажей огромного офиса на Новой Риге, а в голове Виктории Арнольдовны, помимо её воли, одна за другой сменялись мысли о ценности всего того, чему она посвятила последние двадцать лет своей земной жизни. Она вспоминала утренний разговор с поставщиками, их лживые, заискивающие улыбки, вспоминала капризных поп-див, требовавших перешивать готовые платья прямо на них за пять минут до выхода на сцену, и во всей этой бесконечной веренице лиц ей не находилось ни одного живого, искреннего человеческого чувства, ни одного взгляда, который не был бы продиктован корыстью или суетным желанием казаться больше, чем они есть на самом деле. «Для чего всё это? – спрашивала она себя, и это был тот самый вопрос, который всегда пугал её своей простотой и неразрешимостью. – Зачем я бегу по этому замкнутому кругу, ублажая чужое тщеславие, если моя собственная душа остается такой же пустой и холодной, как это зеркальное пространство?»

Вдруг страшный, неестественный и резкий металлический звук, напоминавший не то треск лопнувшей каретной оси на мостовой, не то глухой подземный удар, заставил её вздрогнуть и ухватиться руками за холодный никелированный поручень. В ту же секунду где-то над головой раздался протяжный, вибрирующий скрежет – то был звук рвущегося стального троса, который лопнул с такой чудовищной силой, словно переломилась гигантская струна виолончели. Пол подъемника ушел из-под ног Виктории Арнольдовны с той стремительной, захватывающей дух быстротой, с какой уходит всякая земная почва из-под ног человека, внезапно осознавшего всю бездну своего ничтожества перед лицом грозной и неотвратимой погибели.

Свет внутри кабины мгновенно погас, погружая всё во тьму, и в эти несколько бесконечных, страшных секунд, пока кабина летела в черную, глухую шахту, Виктория Арнольдовна испытала странное, двойственное чувство: её охватил дикий, животный ужас перед физическим уничтожением, но вместе с тем в её груди, вытесняя этот страх, родилось удивительное, почти восторженное облегчение. В это мгновение падения она не думала ни о модных показах, ни о недописанных контрактах, ни о Париже; всё её прошлое бытие показалось ей теперь мелкой, ненужной и дурно сыгранной пьесой, от участия в которой её наконец-то освобождала высшая, непреклонная воля. Она закрыла глаза и внутренне приготовилась к удару, который должен был положить предел её земным страданиям.

Когда же она снова открыла глаза, очнувшись от этого глубокого, похожего на смерть забытья, её первым чувством было не удивление как от страха, а скорее то умиротворенное, тихое недоумение, которое испытывает маленький ребенок, пробудившийся после долгой болезни в незнакомом, но теплом доме. Она ожидала увидеть белизну больничного потолка, услышать мерный, механический писк приборов реанимации и почувствовать резкий запах нашатырного спирта, но вместо этого её ноздри атаковал плотный, удушливый и тяжелый аромат, состоявший из запахов дешевого парафина, прелого сена и вареного лука. Виктория Арнольдовна попыталась пошевелиться, но тело её отозвалось тупой, ломящей болью в затылке, а руки наткнулись на грубое, колючее холщовое одеяло, под которым лежала жесткая соломенная перина. Над ней, вместо ровного пластика современной архитектуры, чернели толстые деревянные бревна старого потолка, между которыми торчали серые косматые клочья сухой пакли.

– Очухалась! Батюшки мои, очухалась девка-то! – раздался над самым её ухом дребезжащий, плаксивый старушечий голос, в котором слышалась та особенная, простонародная жалость, какая всегда трогает сердца людей высшего сословия. – А ведь сказывали – всё, к покойной матушке на погост приберется сиротинушка. Ан нет, задышала, милостивец Господь уберег!

Виктория Арнольдовна резко повернула голову, отчего боль в затылке отозвалась с новой силой, и увидела бледное, сморщенное, как печеное яблоко, лицо старой женщины в темном повойнике и засаленном сером платке. Старуха эта, непрестанно шепча молитвы, истово крестилась трехпалым крестом на угол комнаты, где в полумраке, перед потемневшей от времени и копоти иконой, тускло и ровно мерцала красная лампада. Под иконой стоял колченогий деревянный стол, на котором возвышался пузатый медный самовар, покрытый зеленоватым налетом сырости, и лежала сиротливая кучка сухих сушек.

«Где я? Что это за декорации? – в панике подумала Виктория Арнольдовна, пытаясь отыскать глазами свой телефон или хотя бы сумочку. – Меня привезли в какую-то глухую деревню? Это частная клиника для любителей старины?» Она попыталась заговорить, чтобы потребовать объяснений от этой странной женщины, но из её горла вырвался лишь хриплый, непривычно тонкий и слабый девичий звук, совершенно не похожий на её собственный, всегда уверенный и командный альт.

– Где мой телефон? – с трудом выговорила она, силясь придать своему новому лицу выражение прежней строгости. – Принесите мне… воды. И позовите врача.

Старуха медленно опустила руку, которой крестилась, и с выражением глубочайшего испуга вытаращила свои слезящиеся глаза на лежащую девушку.

– Свят-свят-свят… – запричитала она, отступая к печи и хватаясь за край фартука. – Совсем умом повредилась от горя-то болезная! Какой такой лифон? Какой рач? Да где ж мы тебе, Агашенька, дохтура-то возьмем, коли у нас в пригороде один только лекарь Михей на три версты кругом, да и тот с утра пьян со слесарями? И матушка твоя, Пульхерия Ивановна, три дня как преставилась, упокой Господь её душеньку, а ты как у гроба-то упала без чувств,

так двое суток пластом и лежала… Одна ты осталась, сирота, а тут еще Прохор Саввич за недоимками придет… Тронулась, точно тронулась умом девка!

Виктория Арнольдовна, не слушая причитаний старухи, с трудом спустила ноги с кровати. Они показались ей непривычно длинными, худыми и слабыми; они мгновенно запутались в широком подоле убогой холщовой рубахи, которая нещадно колола её нежную кожу. Кое-как удержав равновесие на колеблющемся полу, она направилась к небольшому, мутному зеркалу в треснувшей деревянной рамке, висевшему у запыленного окна.

То, что она увидела в этом неровном, покрытом темной патиной стекле, заставило её сердце остановиться от дикого, леденящего кровь ужаса.

Из зеркала на неё смотрела совершенно чужая, незнакомая девица лет девятнадцати или двадцати. Лицо её было бледным, как сметана, с огромными, испуганными серыми глазами, тонкими ключицами, которые торчали из-под ворота рубахи, и длинной, растрепанной русой косой, толщиной в хорошую армейскую веревку. На этом лице не было ни малейшего следа косметики, ни капли той изысканной ухоженности, которую Виктория Арнольдовна поддерживала в себе годами. Это было лицо нищей, изнуренной горем и плохой едой провинциальной сироты. Виктория подняла свои новые руки – пальцы были тонкими, но кожа на ладонях огрубела, а на указательном пальце темнела застарелая мозоль от простой швейной иглы.

«Это не я… Это сон. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда», – твердила она про себя, прикасаясь чужими пальцами к своим новым, холодным щекам. Она взглянула в окно, за которым расстилался пейзаж, лишенный всяких признаков цивилизации: широкая, раскисшая от весенней распутицы улица Охты, деревянные избы с резными наличниками, кареты и телеги, утопающие по ступицы в грязной жиже. Мужик в рваном тулупе яростно стегал худую лошадь, и ругань его долетала сквозь щели в окнах.

Виктория Арнольдовна поняла всё. Она читала в сомнительных журналах о случаях переселения душ, но всегда считала это глупой фантазией для праздных умов. Теперь же вся эта фантазия стала её суровой, леденящей реальностью. Она была мертва в своем мире и жива в этом – в теле нищей сироты Агафьи, обремененной долгами и одиночеством в России начала двадцатого века. Паника, огромная и темная, готовая была захлестнуть её разум, но многолетняя привычка бороться и управлять швейным производством заставила её сделать глубокий вдох и взять себя в руки. «Спокойно, Морозова, – сказала она себе. – Если ты выжила в бизнесе девяностых и одела Москву, ты не пропадешь и здесь».

Она повернулась, чтобы спросить старуху о долгах, но тут её взгляд упал на кучу грязной ветоши и обрезков старых газет, лежавшую в углу, прямо под её кроватью. Ветошь эта вдруг зашевелилась, зашуршала, и из неё с тяжелым, совершенно человеческим вздохом показалось существо, при виде которого Виктория Арнольдовна окончательно уверилась бы в своем безумии, если бы разум её не оставался столь ясным и холодным.

Это был мышь. Но то был не обычный серый грызун, каких травят мышьяком в амбарах. Этот мышь был размером с хорошего, упитанного уличного кота, круглый, как спелый арбуз, со щеками столь пухлыми, что они буквально лежали на его плечах. На нем не было обычной жесткой шерсти – всё его округлое тело покрывала бархатистая шкурка удивительного, нежно-кремового, марципанового цвета. Мышь этот вальяжно сел на попу, сложил маленькие розовые лапки на своем толстом пузике, критически осмотрел грязный подол Викиной ночной рубахи и недовольно зашевелил длинными белыми усами.

– Ну и ну… – раздался в тишине каморки густой, манерный и глубокий баритон, в котором слышалось то особенное, пресыщенное высокомерие, какое часто бывает свойственно людям высшего света, презирающим всё, что не удовлетворяет их изысканному вкусу. – Это, конечно, совершенное, абсолютное фиаско, дорогуша. Я, признаться, рассчитывал, что моя новая хозяйка, чья душа только что соизволила занять это бренное тело, будет принадлежать ну по меньшей мере великой княжне. Или, на худой конец, дочери богатого банкира с хоро-

шим вкусом. А что я вижу? Холщовая рубаха сорок второго размера, запах вареного лука и каморка, в которой даже приличному молье умереть стыдно.

Виктория Арнольдовна замерла, не сводя глаз с этого кремового чудовища.

– Ты… что такое? – прошептала она, чувствуя, как абсурд происходящего достигает своей высшей точки.

– Какая дремучесть, боже мой! – мышь картинно взмахнул розовыми лапками и усердно пригладил шерстку на макушке. – Какое отсутствие элементарного светского образования! Я – Марципан. Твой фамильяр, твоё второе «я», отражение твоей изысканной, но глубоко травмированной падением в лифте души. Я твой единственный шанс не погибнуть в этой модной бездне. Я, между прочим, обладаю абсолютным чувством прекрасного, а этот твой серый цвет лица… Нам срочно нужно менять рацион и подбирать правильные румяна, дорогуша!

Старуха у печи ничего этого не слышала и не видела – она продолжала выть и причитать, утирая нос фартуком, ибо фамильяры, как знала теперь Виктория из глубин памяти покойной Агафьи, открывались во всей своей разумности лишь собственным хозяевам. Виктория посмотрела на этого толстого, самовлюбленного грызуна, который только что появился на свет, но уже критиковал её внешний вид, и внезапно поймала себя на мысли, что страх уходит. На её бледных губах появилась тихая, торжествующая улыбка. В этом чужом, грязном и архаичном мире она больше не была одна.

Глава II. Диалектика пушистой души

Когда баба Марфа – так звали эту сморщенную старуху, чье присутствие в каморке сделалось для Виктории Арнольдовны первым и самым тягостным овеществлением её новой, убогой реальности – наконец утомилась своими простонародными причитаниями и, сотворив еще один истовый крест на лампионовый угол, ушла к себе за перегородку, в комнате воцарилась та особенная, звенящая ночная тишина, какая бывает только в деревянных деревенских домах перед весенней оттепелью. Сквозь неплотно притворенные ставни доносился лишь однообразный, усыпляющий шум раскисшего Охтинского тракта, где изредка, точно во сне, вскрикивал запоздалый ямщик или тяжело ухала под копытом серая мартовская жижа.

Виктория Арнольдовна сидела на краю узкой, скрипучей кушетки, поджав под себя худые, озябшие ноги в грубой холщовой рубахе, и с тем особенным, сосредоточенным вниманием, какое человек искусства обращает на предмет совершенно новый и непонятный, разглядывала своего неожиданного сожителя.

Марципан же, нимало не смущаясь этим пристальным взглядом, который у любой обыкновенной мыши вызвал бы непременный ужас и желание немедленно скрыться в подполье, с величайшим удобством расположился на куче старых, пожелтевших ведомостей покойного Агафьиного батюшки. Он сидел, выставив вперед свое круглое, кремовое, лоснящееся пузико, и с чрезвычайно серьезным видом, какой часто можно встретить у столичных стряпчих или пресыщенных театральных критиков, разглаживал лапкой свои длинные, тонкие вибриссы, то и дело поглядывая на хозяйку своими маленькими, блестящими, как бусины, глазками.

В эту минуту в душе Виктории Арнольдовны происходила та сложная и мучительная борьба чувств, которую классик бы всегда назвал движением человеческого духа. С одной стороны, всё её прежнее, прагматичное и основанное на строгих законах физики образование девятнадцатого и двадцатого веков бунтовало против очевидности: разумная, мыслящая и, более того, изъясняющаяся на чистейшем великосветском наречии мышь величиной с кота казалась плодом воспаленного воображения, галлюцинацией, вызванной страшным ударом кабины подъемника. Но с другой стороны – и это было то самое чувство, которое всегда побеждает в людях сильных и деятельных, – она ясно сознавала, что это существо не просто реально, но что оно связано с ней невидимой, глубокой нитью, составляя как бы неотъемлемую, прежде скрытую часть её собственного существа. Она смотрела на Марципана и видела в нем, точно в кривом зеркале, все свои собственные слабости: свое тщеславие, свою привычку судить людей

по внешнему лоску, свое высокомерие и, главное, ту вечную, неутолимую жажду изящества, которая когда-то заставила её бросить всё и посвятить жизнь созданию одежды.

– Итак, дорогуша, – прервал тишину Марципан, и его густой, бархатный баритон прозвучал в сырой избе столь странно и неуместно, словно в крестьянской избе заиграли на клавесине Моцарта, – мы, кажется, пришли к молчаливому соглашению относительно моего присутствия. Это похвально. Разум – это первое, что отличает мыслящую субстанцию от той толпы, которая сейчас дрыхнет по охтинским флигелям. Но скажи мне, ради всего святого, неужели в твоем прежнем, столь восхваляемом тобой мире, где люди летают по воздуху в железных коробках и разговаривают через стекло, совершенно не было понятия о фамильярах?

Виктория Арнольдовна вздохнула, поправив тяжелую русую косу, которая непривычно давила ей на шею.

– Не было, Марципан. В моем мире душа человека оставалась невидимой. Каждый носил её внутри себя, и часто случалось так, что человек с душой прекрасной и нежной казался окружающим уродом, а подлинный внутренний монстр мог прятаться за лицом ангела. Мы судили друг о друге только по делам… ну и по одежде, разумеется.

Марципан картинно всплеснул маленькими розовыми лапками и даже перевалился от возмущения на другой бок, отчего его круглое марципановое тело издало легкий, сытый шлепок о бумагу.

– О, какое варварство! Какое страшное, механическое ослепление! Носить душу внутри и не иметь возможности продемонстрировать её обществу в виде безупречного пушистого компаньона! – мышь брезгливо фыркнул и прилизал шерстку на пухлой щеке. – Здесь, в нашей любезной империи, всё устроено куда более логично и, я бы сказал, более драматично. Фамильяр – это и есть человек, его глубинная, сокровенная суть, вывернутая наружу высшей магической силой в момент рождения. По виду зверя здесь сразу видно, с кем ты имеешь дело: у подлеца и скряги Прохора Саввича, который придет завтра пить твою кровь за сорок рублей, душа – это жирный, вечно испуганный серый суслик, который только и умеет, что прятать краденый сахар за щеки. У купчихи Полуэктовой – капризная, тщеславная лисица, которая мечтает лишь о том, чтобы её чесали за ушком и возили в золоченой карете. Мы – отражение вас, людишек!

– Если ты – отражение моей души, – Виктория Арнольдовна грустно улыбнулась, оглядывая каморку, – то почему ты явился мне в образе толстой, прожорливой мыши с повадками французского парикмахера? Я всегда считала себя человеком широкого размаха, сильной женщиной, способной управлять огромным производством. Мне бы больше подошел лев, ну или хотя бы породистый дог.

Марципан оскорбленно выпрямился, выпятил свое круглое пузико так сильно, что едва не потерял равновесие, и посмотрел на Вику со смесью глубокой жалости и артистического превосходства.

– О, как ты заблуждаешься, дорогуша! Лев? Дог? Какая банальность, какой пошлый, провинциальный пафос! Лев – это для генералов, у которых в голове вместо мыслей строевой устав и медали. А ты? Ты – кутюрье. Твоя магия – это магия мелких, ювелирных деталей, точности шва, изящества кроя и вечного, неистребимого желания копаться в тряпках, выискивая среди хлама истинную красоту. Мышь – это идеальный архитектор текстиля! Мы пролезаем в любые щели, мы видим то, чего не замечают ваши огромные, ленивые глаза. А то, что я пухлый и предпочитаю кремовый оттенок… Что ж, это говорит лишь о том, что твоя душа, иссушенная московскими стрессами и диетами на сельдерее, истосковалась по настоящему, сладкому, буржуазному уюту! Я – твой манифест комфорта и высокой эстетики, дорогуша!

Виктория Арнольдовна не нашлась, что ответить на эту тираду. Психологический анализ, выданный грызуном, был настолько точен и глубок, что она почувствовала, как к её горлу подступает комок. Этот толстый мышь действительно знал её лучше, чем она сама.

– Но в чем же трагедия, о которой ты говорил? – спросила она, чтобы перевести разговор с собственной персоны на устройство этого нового мира. – Почему ты назвал местное общество «паноптикумом»?

Марципан сразу посерьезнел. Его длинные усы уныло опустились, а в маленьких черных глазках промелькнула та особенная, глубокая тоска, как у людей, осознавших несправедливость сословного деления.

– Трагедия, душа моя, заключается в том, что люди этого века – редкие, непроходимые болваны, – тихо, со вздохом произнес мышь. – Они получили от создателя великий дар – разумных, чувствующих компаньонов, которые делят с ними все радости и горести. И как же они этим даром распорядились? Они низвели нас до положения домашнего скота с функцией престижа! Нас держат на полу, нас заставляют спать на грязной ветоши, нас кормят объедками с барского стола, а на людях используют как живые аксессуары! Акулина Полуэктова напяливает на свою несчастную лису Аделаиду жуткие, жесткие парчовые чехлы, от которых у бедного животного вылезает шерсть и ломит суставы, только для того, чтобы показать товаркам в Гостином дворе: «Посмотрите, как богато у меня зверь обшит!». Сурикат на кухне Полуэктовых целыми днями чистит чеснок, у него же лапки в кровь стёрты, а хозяину плевать – мол, «на то он и сурикат, пускай работает». Фамильяров не пускают в приличные кофейни, им запрещено сидеть на стульях, их считают придатками человеческого сословия! Мы имеем разум, мы чувствуем стиль, мы страдаем от безвкусицы и унижения, но мы беззащитны, потому что у нас нет… статуса. А статус в вашей империи, как я успел заметить, дает только одно.

– Одежда, – твердо закончила за него Виктория Арнольдовна. В её уме, как на чертежной доске, один за другим начали выстраиваться элементы будущей грандиозной стратегии. Все её прежние мысли о выживании, о мелком заработке горничной гор горничной растворились, уступая место чистому, масштабному вдохновению.

– Именно, дорогуша! – Марципан подскочил на месте. – Одежда! Костюм делает человека. Если мы оденем фамильяров так, как одеваются лучшие дворяне столицы – в строгие фраки, элегантные жилеты, бархатные капоры с вуалью, – общество сойдет с ума! Они не смогут больше держать на полу пса, на котором надет безупречный английский твид. Им станет стыдно заставлять чистить чеснок суриката в поварском колпаке и шелковом шейном платке! Мы перевернем эти сословные предрассудки через моду! Мы создадим первый в истории синдикат кутюра для высших магических существ!

Виктория Арнольдовна медленно поднялась с кушетки. Её серые глаза, еще час назад полные испуга и слез, теперь горели тем самым холодным, решительным огнем, который когда-то заставлял трепетать поставщиков на Новой Риге. Она подошла к окну, посмотрела на темную грязную улицу Охты и улыбнулась.

– Ну что ж, Марципан, – тихо, но отчетливо произнесла она, чувствуя, как магия этого мира отзывается в её груди новой волной тепла. – Ты прав. Пора открывать Дом моды. Пусть Прохор Саввич приходит завтра со своими сорока рублями. Мы сделаем из его суслика нашего первого, самого смешного и самого преданного клиента. Начинаем кроить историю, дорогуша.

Глава III. Суконный поединок

Едва только первые, холодные и блеклые лучи питерского мартовского солнца, пробившись сквозь вековую пыль и морозные узоры небольшого оконца, тускло осветили сырую каморку, как Охтинский тракт огласился тем особенным, тяжелым и уверенным топотом сапог, какой всегда извещает обывателя о приближении человека, облеченного властью или, что в здешних местах почиталось за одно и то же, обладавшего тугим кожаным кошелем.

Дверные петли избы, давно не мазанные дегтем, огласили мастерскую Агафьи таким протяжным, жалобным и тоскливым скрипом, словно вся прошлая, сияющая неоновыми огнями жизнь Виктории Арнольдовны – с её подиумами, утренним рафом на миндальном молоке и показами в Париже – окончательно и безвозвратно канула в бездну прошлого.

На пороге стоял мужчина, который всей своей могучей, приземистой фигурой олицетворял то сытое, дремучее и непоколебимое в своей правоте купеческое сословие, против которого была бессильна всякая европейская цивилизация. То был Прохор Саввич. Он был широк в кости, подпоясан грязным шелковым кушаком поверх добротного синего кафтана, а его окладистая, лоснящаяся борода блестела так, словно он только что в один присест уничтожил ведро масляных блинов. Из-под кустистых, сросшихся на переносите бровей на Викторию Арнольдовну смотрели маленькие, хитрые и совершенно безжалостные глазки-щелочки.

Но внимание Виктории, как человека, привыкшего оценивать мир через призму формы и содержания, привлек не сам купец. На его правом плече, вальяжно раскинувшись и свесив пухлые, серые лапки, восседал его фамильяр – тот самый суслик, о котором Марципан поминал накануне с таким глубоким презрением. Зверь этот был неестественно, уродливо жирен для своего природного естества; на его круглой голове был нелепо нахлобучен крошечный, расшитый дешевым стеклянным бисером картуз, а в передних лапах грызун держал кусок колотого сахара, который он с самым плотоядным видом грыз, осыпая купеческое сукно белыми крошками.

– Ну что, Агафья Тихоновна, – гулким, чахоточным басом начал купец, даже не подумав снять шапку перед лампадой. – Погоревала, поплакала у гроба матушки, пора и честь знать. Пульхерия Ивановна, упокой Господь её душеньку, перед самой кончиной у меня под залог этой вот избушки сорок рублей серебром взять изволила на докторов купеческих. Срок истёк вчерась во время вечерни. Вынь да положь мне сорок целковых, девка, либо собирай свои пожитки и выметайся на Охтинский проспект, а я сюда дворника Михея поселю в счет недоимок.

Суслик на его плече внезапно перестал грызть сахар, посмотрел на Вику своими подлыми, черными глазками и противным, дребезжащим, похожим на несмазанную телегу голоском запричитал, обращаясь к хозяину:

– Отдавай, отдавай должок, девка негодная! Прохор Саввич из-за вас, нищебродов, третью ночь глаз сомкнуть не может, изжога его купеческую утробу мучает! И картуз мой совсем пообтрепался, новый бисер купить не на что, перед сусликами Полуэктова стыд и позор принимать приходится!

Виктория Арнольдовна, сидевшая доселе неподвижно, медленно поднялась во весь свой новый, девический, высокий рост. В её душе в это мгновение произошло то удивительное превращение, которое всегда случалось с ней в минуты самых тяжелых кризисов на производстве: паника и растерянность мгновенно уступили место холодному, расчетливому и хищному азарту переговорщика двадцать первого века. Она не упала в ноги купцу, как сделала бы на её месте прежняя Агафья, не завыла в голос, хватаясь за полы кафтана, но напротив – расправила плечи и посмотрела прямо в маленькие глазки Прохора Саввича тем самым прямым, гордым и уничтожающим взглядом, какого этот человек в своей жизни от простонародья никогда не встречал.

Марципан, сидевший под кушеткой, одобрительно и тихонько ухнул своим густым баритоном, подбадривая хозяйку.

– Уважаемый Прохор Саввич, – спокойно, с той особенной, леденящей вежливостью, какая всегда обезоруживает грубых людей, начала Виктория. – Примите мои искренние соболезнования по поводу вашей изжоги. Но как человек дела, вы должны понимать, что я только что похоронила мать. Денег в доме нет. Если вы выставите меня на улицу прямо сейчас и забе-

рете этот флигель, вы, разумеется, удовлетворите свое тщеславие. Но продать эту полусгнившую избу на окраине Охты за сорок рублей серебром в условиях весенней распутицы и полного отсутствия ликвидности на рынке недвижимости вам не удастся и за полгода. Чистых, живых денег вы не увидите еще очень долго. Вам нужен этот простой кусок дерева или вам нужны ваши сорок рублей с хорошей, купеческой прибылью?

Купец на секунду буквально лишился дара речи. Его рот под окладистой бородой открылся, а суслик на плече от неожиданности даже подавился сахаром, замер с поднятой лапой и смешно захлопал ушами. Никогда еще Охта не видела, чтобы девка-сирота в холщовой рубахе оперировала терминами «ликвидность» и «чистые деньги», словно заправский маклер со столичной биржи.

– Ты… ты как разговариваешь со старшими, егоза? – опомнился Прохор Саввич, багровея лицом и хватаясь за ремень кушака. – Какая такая ликвидность? Какая распутица? Это пригород Санкт-Петербурга! Тут земля в цене!

– Вот именно, что пригород, – подхватила Вика, делая шаг вперед и заставляя купца инстинктивно отступить к порогу. – А раз это пригород, значит, до центра и до больших денег – рукой подать. Но сейчас у вас в руках нет ничего, кроме долговой расписки, которую нельзя съесть на обед. Я предлагаю вам сделку, Прохор Саввич. Сделку, от которой ваша изжога пройдет навсегда, а ваш фамильяр наконец-то перестанет выглядеть как облезлое чучело с базарной площади.

Суслик на купеческом плече при слове «чучело» оскорбленно пискнул, сорвал свой бисерный картуз и зашептал хозяину в самое ухо:

– Саввич, слышь, что девка-то городит? Чучело! Она меня чучелом назвала! А ну как спроси её, что за сделка такая? Может, она у Полуэктовых золото украсть замышляет?

Прохор Саввич нахмурился, почесал пухлым пальцем в бороде, оценивающе оглядывая худую, но удивительно величественную фигуру Виктории. Купеческий практический ум, который считался одновременно и силой, и проклятием этого сословия, заставил его прислушаться.

– Ну, говори, Агафья, чего удумала? – буркнул он, усаживаясь на край стола и заставляя самовар обиженно звякнуть медной крышкой. – Какая такая сделка? Коли глупость скажешь – прямо сейчас дворника кликну.

– Посмотрите на своего зверя, Прохор Саввич, – Вика указала тонким пальцем на грызуна. – Вы – человек почтенный, торгуете овсом на бирже, хотите казаться купцом первой гильдии. Но ваш фамильяр – отражение вашей собственной купеческой души – ходит в наряде, от которого вороны на Охтинском проспекте со смеху дохнут. Этот картуз… этот жуткий, аляповатый бисер Мориса… Он же делает вашего суслика круглым дураком! На бирже над вами купцы первой гильдии тайно посмеиваются, мол, у Прохора дела совсем плохи, коли у его зверя картуз по швам трещит! Встречают-то по одежке, Прохор Саввич!

Купец внезапно побледнел. Слова Виктории попали в самую больную точку его тщеславной, купеческой натуры. Он и сам замечал, как Полуэктов на прошлой неделе косился на его суслика со странной, презрительной усмешкой.

– И что же ты… что ты предлагаешь? – уже тише, с явным замешательством спросил Прохор.

– Я сошлю вашему суслику новый наряд, – твердо ответила Вика. – Строгий английский жилет из темно-синего сукна с прорезями для лап, который визуально скроет его избыточный вес и придаст ему вид солидного, государственного чиновника. И вместо этого дурацкого картуза – маленький, строгий цилиндр с шелковой лентой. Когда вы придете с таким зверем на биржу, Полуэктов сам вам дорогу уступать станет! Взамен вы даете мне отсрочку по долгу на один месяц и даете мне рекомендацию в дом Полуэктова, которому, как мне известно, нужна

третья горничная. Вы получаете статус, уважение и свои сорок рублей с процентами через месяц. Я получаю работу и время. Ну, Прохор Саввич, бьем по рукам?

Купец сидел неподвижно, переводя взгляд с выпрямившейся Виктории на своего суслика. А суслик… суслик уже вовсю грезил о синем английском жилете и шелковом цилиндре. Зверек преданно заглянул в глаза хозяину и прошептал:

– Саввич… Соглашайся. Ей-богу, соглашайся! Синий жилет – это же чистый петербургский шик! Мы Полуэктову всю спесь с носа собьем!

Прохор Саввич тяжело вздохнул, поднялся со стола, огладил бороду и посмотрел на Вику со смесью страха и невольного уважения.

– Ладно, девка… Твоя взяла. Даю тебе месяц отсрочки. И к Полуэктовым записку черкну, Акулина Федосеевна как раз девок на кухню искала. Но коли через три дня жилет для Митрофана – так суслика звали – готов не будет, пеняй на себя. Из-под земли достану!

Купец развернулся и, не попрощавшись, тяжелым шагом вышел из избы. Суслик напоследок обернулся, погрозил Марципану крошечным розовым кулаком и спрятал сахар за щеку.

Едва дверь за ними закрылась, Марципан с торжествующим писком выскочил из-под кушетки, запрыгнул на стол и победно выпятил свое круглое кремовое пузико:

– Дорогуша! Это был грандиозный, чистокровный триумф! Милан рыдает, Новая Рига аплодирует стоя! Ты сделала этого бородатого плебея одной лишь силой текстильного гипноза! Запиши в наш актив: первый клиент пойман на крючок собственного тщеславия. Пора доставать старые ножницы твоей матушки, у нас впереди три дня большой, исторической кройки!

Виктория Арнольдовна устало опустилась на кушетку и впервые за эти двое суток искренне, во все легкие рассмеялась. Настоящая игра на этом подиуме прошлого только начиналась.

Глава IV. В купеческом гнезде Полуэктовых

Ранним утром следующего дня, едва только Охтинский проспект успел огласиться первыми, еще нерешительными криками разносчиков рыбы и тяжелым поскрипыванием телег, Виктория Арнольдовна, бережно спрятав в потайной карман своей убогой шерстяной юбки записку от Прохора Саввича, отправилась в путь. Весенний петербургский туман, густой, сырой и пахнущий невской гнилью, плотным саваном окутывал приземистые деревянные флигели Охты, скрадывая очертания домов и придавая всему окружающему пейзажу вид сонный и зловещий.

В душе Виктории Арнольдовны в эти минуты происходила та самая мучительная, скрытая от посторонних глаз борьба, какую всегда испытывают люди сильные и гордые, принужденные обстоятельствами укрощать свое тщеславие ради великой цели. Она шла по грязной, раскисшей колее, то и дело утопая по щиколотку в липкой серой жиже, и каждая деталь её нового, бедного облачения – и этот тяжелый, пахнущий нафталином платок, и грубые кожаные ботинки, нещадно натиравшие ноги, – казалась ей вещественным доказательством её глубокого, почти непереносимого унижения. Она, Виктория Морозова, перед которой еще неделю назад заискивали лучшие поставщики итальянских шелков и чьи приказы в швейном цеху на Новой Риге исполнялись с быстротой военного устава, теперь шла наниматься третьей горничной, безликой прислугой в дом грубого, необразованного купца, чтобы оттирать паркеты и выносить помои за три рубля в месяц.

«Для чего, зачем мне это испытание? – думала она, и это были те самые мысли, которые всегда называют очистительным огнем человеческого духа. – Неужели для того, чтобы я, ослепленная своим прежним, легким успехом, наконец поняла, как живет и страдает это

огромное, безмолвное большинство? Пусть так. Но я и здесь останусь собой. Горничная Агафья будет горничной снаружи, но внутри неё останется разум кутюрье».

Марципан, сидевший в глубоком кармане её пальто, точно угадывал эти мысли своей хозяйки. Он не капризничал и не ворчал, как обычно, но лишь изредка, когда Вика делала особенно глубокий шаг в грязную лужу, тихонько и преданно шевелил усами, согревая её ладонь своим теплым, бархатистым, кремовым пузиком.

Дом купца первой гильдии Полуэктова, расположенный в самом богатом квартале Охты, являл собой то удивительное зрелище, в котором огромный купеческий капитал соединялся с полным, кричащим отсутствием какого бы то ни было вкуса. Это было массивное трехэтажное здание, где нижний, каменный этаж был сложен в строгом, холодном стиле ампир, с колоннами и лепными львиными мордами, в то время как верхние два этажа были срублены из толстых бревен в виде причудливого деревянного терема с резными наличниками и пестрыми флюгерами. На широком парадном крыльце, подметая ступени сонной ленивостью, сидел огромный дворник в чистом белом фартуке, а у его ног, положив тяжелую морду на лапы, дремал его фамильяр – огромный, лопоухий серый волкодав, который лишь на секунду приоткрыл один мутный глаз при виде приближающейся Вики.

Её провели через низкую, тяжелую дверь черного хода прямо на обширную господскую кухню. Здесь стоял такой оглушительный грохот медных тазов, шипение раскаленных печей и крики поварят, словно тут готовились принять по меньшей мере кавалерийский полк. Воздух был плотным, горячим и удушливым; в нем смешивались запахи жареного гуся, кипящих кислых щей, топленого масла и каких-то привозных, заморских специй. За огромным дубовым столом, тяжело дыша от жара и собственной полноты, восседала кухарка Степанида – женщина необъятных, истинно монументальных размеров, с лицом красным и суровым.

Но что поразило Викторию Арнольдовну больше всего – и в чем она снова увидела то страшное, сословное неравенство, о котором Марципан поминал на днях, – так это фамильяр кухарки. На плече у Степаниды, зацепившись крошечными острыми когтями за холщовую лямку её передника, сидел маленький, шустрый, покрытый блеклой песочной шерсткой сурикат. На голове зверька был надет смешной, испачканный в саже поварской колпачок, и этот маленький разумный спутник человеческой души с поразительной, почти трагической быстротой чистил своими крошечными зубками и лапками дольки чеснока, бросая их прямо в кипящий чан. Глаза суриката были полны той покорной, глубокой тоски, какую можно встретить лишь у старых, заезженных лошадей.

– Еще одну принесло, – проворчала кухарка Степанида, даже не взглянув на рекомендательное письмо Прохора Саввича, которое Вика положила на край стола. – От Прохора, значит… Ну иди, иди в девичью, Агафья. Барыня нынче с самого утра не в духе, кофий пить изволят, а Аделаида Николаевна капризничать изволят, весь дом от их звериного крика на ушах стоит. Смотри только, под горячую руку не попадись, барыня у нас строгая, девок меняет как перчатки!

Сурикат на её плече на секунду перестал чистить чеснок, посмотрел на Вику своими маленькими, окруженными темными кругами глазками и тихонько, жалобно пискнул, словно хотел сказать: «Беги отсюда, девка, пока твой маникюр тоже не превратился в прах».

Виктория Арнольдовна поблагодарила кухарку легким наклоном головы и, сопровождаемая Марципаном, который в кармане весь сжался от запаха чеснока и лука, прошла по длинному, темному коридору в господскую половину дома.

Окончательно её дизайнерское сердце кровью облилось, когда она переступила порог малой гостиной. Интерьер здесь являл собой ту самую вершину «цыганского барокко», пред которой бледнели все безвкусные особняки Рублевки её прежнего мира. Тяжелые, массивные портьеры из вишневой парчи соседствовали с обоями, на которых были напечатаны гигант-

ские, аляповатые золотые цветы; повсюду стояли фарфоровые пастушки, позолоченные часы со сломанными стрелками и громоздкие турецкие диваны, обитые скользким шелком.

На одном из таких диванов, затянув свое тучное тело в шелковое платье цвета взбесившейся фуксии, восседала сама хозяйка дома – Акулина Федосеевна Полуэктова. Это была дама с тремя подбородками, с лицом высокомерным и глупым, чьи пухлые пальцы были усыпаны перстнями с крупными, дурно ограненными изумрудами.

Но главным персонажем в этой комнате, средоточием всей драмы, разыгрывавшейся здесь с самого утра, была не купчиха. На роскошной бархатной подушке у ног хозяйки металась, фыркала, каталась на спине и издавала тонкие, пронзительные звуки изящная рыжая лиса со странным, удивительно красивым серебристым отливом на ушах и лапах. Это и была Аделаида Николаевна – фамильяр купчихи.

На несчастное животное пытались примерить… чехол. Другого слова Виктория Арнольдовна подобрать не могла. Кусок жесткой, тяжелой золотой парчи, наспех сшитый какими-то кривыми, грубыми стежками, уродливо топорщился на спине лисы, давил ей на передние лапы, полностью лишая её возможности двигаться, и совершенно не подходил под анатомическое устройство хищника.

– Не буду! Не надену! – верещала лиса тонким, капризным, но глубоко несчастным голоском, пытаясь зубами сорвать с себя золотую ткань. – Оно колется! Оно жмет мне подмышками! И вообще, этот ужасный цвет делает меня бледной, я в нем выгляжу как облезлая привокзальная крыса, а не почетный зверь первой гильдии!

– Аделаидушка, радость моя, ну потерпи еще капельку, – лебезила перед собственным зверем купчиха, подсовывая ей на серебряном блюдечке кусочек засахаренного имбиря. – Нам же вечером к самой генеральше Поповой ехать на чаепитие. Надо, чтоб богато было, чтоб все купчихи от зависти лопнули! Сам француз Морис из Гостиного двора эту ткань из Парижу выписывал, тридцать рублей за аршин плачено!

– У твоего француза Мориса руки из кружевного места растут! – огрызнулась лиса, сделав резкий, отчаянный кувырок, отчего жесткая парча с сухим, трескучим звуком лопнула по всему боковому шву, обнажив серую холщовую подкладку.

Купчиха Акулина Федосеевна всплеснула руками, лицо её сделалось багровым от гнева и обиды, и в этот самый момент её тяжелый, заплывший жиром взгляд упал на застывшую у дверей Викторию Арнольдовну.

– Это еще кто такая? – зычно, по-базарному крикнула купчиха, обмахиваясь платком. – А, Прохор сказывал… Третья горничная. Ну, подходи ближе, Агафья, не столбом стой. Руки чистые? Шить, стирать, полы натирать умеешь? Нам тут белоручки без надобности, у нас работы полон дом!

Виктория Арнольдовна сделала три медленных, размеренных шага вперед. Она стояла посреди этой безвкусной гостиной, расправив плечи, и смотрела не на купчиху, а на лису, которая, тяжело дыша после борьбы с парчой, сидела на своей подушке и с нескрываемым, чисто звериным удивлением глядела на вошедшую своими умными янтарными глазами. Марципан в кармане Вики затаил дыхание, чувствуя, что его хозяйка готовится нанести свой первый, сокрушительный удар по всей модной индустрии Охты.

– Шить умею, Акулина Федосеевна, – спокойно, с тем леденящим достоинством, которое заставило купчиху невольно притихнуть, ответила Вика. – И, если позволите мне высказать мое профессиональное суждение, я прекрасно понимаю, почему ваша почтенная Аделаида Николаевна так справедливо гневается. Этот наряд, за который вы заплатили французу такие большие деньги, есть чистокровное преступление против её природной грации и статуса вашего дома.

В гостиной Полуэктовых воцарилась такая звенящая, мертвая тишина, словно в комнату вошел сам государь император. Купчиха Акулина Федосеевна от такой неслыханной дерзости

простолюдинки аж чаем поперхнулась, воздух со свистом вышел из её корсета, а лиса Аделаида замерла с открытым ртом, уставившись на бледную девушку в сером платке так, словно перед ней явился пророк. Великий поединок за право фамильяров носить истинный кутюр был официально открыт.

Глава V. Разбор гардероба

Когда последние слова Виктории Арнольдовны, произнесенные тем ровным, леденящим и отчетливым голосом, какой всегда заставлял затихать самые буйные собрания в её прежней, московской жизни, замерли под высокими деревянными сводами гостиной, Акулина Федосеевна Полуэктова застыла в позе столь неестественной, словно её тучное тело, затянутое в шелк цвета фуксии, внезапно превратилось в каменное изваяние купеческого недоумения. Пухлая рука её, державшая серебряное ситечко над чашкой китайского чая, задрожала, и несколько темных ароматных капель упали на белоснежную скатерть вологодского кружева, мгновенно расплывшись некрасивыми грязными пятнами.

– Что-о? – наконец со свистом выдохнула купчиха, и три её подбородка затряслись от того прилива бурного, неосмысленного гнева, какой всегда овладевает людьми невежественными, когда кто-то из низшего сословия дерзает судить о вещах, доступных, по их мнению, лишь избранным. – Что ты такое лопочешь, девка полоумная? Преступление? Против статуса? Да ты знаешь ли, о ком речь держишь, чучело охтинское? Сам Морис, француз из Пассажа, коего вся столичная аристократия на руках носит, сию парчу кроил! Тридцать рублей за аршин золотом плачено, а ты, нищебродка, в рваном платке, судить вздумала? Марфа! Живо кликни дворника Михея, пущай сию егозу за шиворот да в полицию препроводит за дерзость неслыханную!

Но прежде чем испуганная горничная Марфа, застывшая у дверей с подносом, успела шевельнуться, лиса Аделаида Николаевна совершила то удивительное, решительное движение, которое почитается за проявление истинной, свободной от человеческих условностей животной воли. Она резко вскочила на свои тонкие, серебристые лапы, стряхнув с себя остатки лопнувшего золотого чехла, который с глухим стуком упал на паркет, точно кусок брезента, и, вытянув свою изящную острую мордочку, посмотрела на Вику с тем глубоким, почти человеческим интересом, какой всегда рождается в душе существа угнетенного при виде своего неожиданного спасителя.

– Погоди, Акулина! Замолкни, ради всего святого, у меня от твоего крика мигрень с самого утра! – звонким, капризным, но чрезвычайно отчетливым голоском перебила хозяйку лиса. Она сделала два легких, грациозных шага по бархатной подушке, не сводя своих янтарных, блестящих глаз с бледного лица Виктории. – Слышь, девка… Как тебя? Агафья? Ты говоришь – преступление? Ну-ка, ну-ка, растолкуй мне, дуре пушистой, в чем же заключается сие преступление французского кутюра? Ей-богу, коли дело скажешь, я лично Акулине хвост накручу, а коли соврешь – сама твои ботинки в клочья изрежу!

Виктория Арнольдовна, нимало не смущаясь ни гневом купчихи, ни пристальным вниманием лисы, сделала еще один медленный, размеренный шаг вперед. В эту минуту она испытывала то особенное, знакомое всем великим художникам чувство превосходства, перед которым бледнеют все сословные перегородки и миллионные капиталы. Она смотрела на лопнувшую парчу Мориса с той профессиональной брезгливостью, с какой хирург смотрит на дурно наложенный шов провинциального коновала.

Марципан, сидевший в глубоком кармане её пальто, чувствуя, что наступил момент наивысшего триумфа их общего замысла, осторожно высунул свой маленький, розовый, марципановый нос наружу и замер, усердно шевеля усами и тайно посылая Вике сигналы крайнего одобрения.

– Во-первых, Аделаида Николаевна, – спокойно и веско начала Вика, подходя к лежащему на полу наряду и слегка приподнимая его носком своего грубого кожаного ботинка, – обратите внимание на саму структуру этой ткани. Лионская парча с золотой нитью создана для

статичных человеческих фигур, для балов, где дамы стоят с бокалами или медленно плывут в полонезе. Но вы – лисица, хищник, чья красота заключается в стремительности, в гибкости каждого сустава, в мягком изгибе спины при каждом шаге. Надеть на вас эту жесткую броню – всё равно что заковать балерину в рыцарские латы. Ткань не живет вместе с вами, она противится каждому вашему вздоху.

Лиса Аделаида согласно закивала головой, и в её глазах загорелся огонек искреннего, глубокого восторга.

– Вот! Вот именно! Броня! – победно взвизгнула она, повернувшись к багровеющей купчихе. – Слышала, Акулина? Я тебе битый час талдычу, что я в этом корыте дышать не могу, а ты мне всё – «француз, Пассаж, богато»!

– Во-вторых, – продолжала Виктория, и голос её звучал теперь с той непреклонной авторитетностью, какая всегда подчиняет себе умы слабые и колеблющиеся, – посмотрите на крой проймы для передних лап. Этот Морис, очевидно, никогда в своей жизни не видел живой лисы, а кроил по лекалам комнатной собачки. Он совершенно не учёл анатомический вынос лопатки при ходьбе! Когда вы делаете шаг вперед, жесткий шов врезается вам в подмышку, перетирая этот великолепный серебристый мех, коим вас так щедро наградила природа. Еще неделя в таком наряде – и от вашей былой красоты останутся лишь облезлые плешины!

При слове «плешины» лиса Аделаида в ужасе прижала лапы к груди и даже зашаталась на своей подушке, словно ей только что объявили о неизлечимой болезни.

– Мех… мой серебристый мех! – прошептала она со слезами на глазах. – О боже, Акулина, этот шарлатан из Гостиного двора хотел сделать меня лысой!

– И в-третьих, – закончила Вика, бросая уничтожающий взгляд на шелковое платье самой Акулины Федосеевны, – колористика. Этот ярко-золотой, кричащий оттенок парчи полностью уничтожает, «убивает» ваш редкий, благородный пепельный отлив. В этом золоте вы выглядите не богато, а… как будто приболели тяжелой формой желтухи. Вам категорически противопоставлен теплый желтый спектр. Ваша стихия – это глубокий изумрудный бархат, холодный полночно-синий шёлк или, на худой конец, строгий графитовый твид, который подчеркнет аристократизм вашей натуры, а не превратит вас в базарный балаган!

В гостиной Полуэктовых снова воцарилась тишина, но то была уже не тишина испуга, а тишина полного, безоговорочного триумфа истинного знания над дремучим купеческим тщеславием. Лиса Аделаида сидела на подушке, точно громом пораженная. Она переводила свой янтарный взгляд с разорванного золотого чехла на скромную фигуру Вики в сером платке, и на её мордочке отразился такой спектр глубокого почтения, какого она, верно, не испытывала даже при виде генеральских фамильяров.

– Изумрудный бархат… – прошептала лиса, зажмурившись от удовольствия, точно она уже видела себя в этом наряде на каком-нибудь великосветском рауте. – Графитовый твид… Боже мой, какая точность формулировок! Какое глубокое, истинное понимание звериной души! Акулина! Слышишь меня? Ежели ты сейчас же не примешь сию девицу на службу и не прикажешь ей сшить мне изумрудный камзол с вологодским кружевом, я… я объявляю голодовку! Я перебью весь твой любимый саксонский фарфор в буфете, а ночью приду и сгрызу твои новые бальные туфли из Парижу! Слышишь меня, Акулина?

Купчиха Полуэктова, хоть и была барыней грозной, крикливой и державшей всю дворовую челядь в ежовых рукавицах, против воли собственного фамильяра – этого живого, овеществленного отражения её собственной скрытой души – пойти не могла. Она лишь обиженно, по-детски надула свои пухлые, усыпанные крошками от кренделей губы, тяжело вздохнула, отчего пуговицы на её фуксиевом платье жалобно звякнули, и махнула рукой, усыпанной изумрудами.

– Ладно… Ладно, Аделаидушка, не гневайся, радость моя, не губи фарфор, – проворчала она, косясь на Вику со смесью невольного страха и купеческого любопытства. – Твоя взяла. Слышь, девка… Агафья. Принимаю тебя третьей горничной. Будешь полы натирать в зале, за гардеробом Аделаиды следить и чесать её за ушком по четвергам, коли изволит. Жалованье положу три рубля в месяц на казенных харчах, и чтоб у меня в доме всё блестело, как зеркало! Ступай на кухню к Степаниде, пущай она тебе каморку под лестницей определит.

Виктория Арнольдовна сделала легкий, едва заметный наклон головы – не тот рабский, поясной поклон, какой делали обычные охтинские девки, а тот строгий, исполненный достоинства жест, каким коронованные особы приветствуют своих деловых партнеров.

– Благодарю вас, Акулина Федосеевна, – спокойно ответила она. – Уверена, наше сотрудничество принесет вашему дому ту славу, какой он воистину заслуживает.

Когда Вика развернулась и пошла по длинному коридору обратно на кухню, Марципан в её кармане наконец-то позволил себе издать тихий, восторженный и победный писк. Он завертелся волчком, щекоча её ладонь своими пухлыми боками, и прошептал:

– Дорогуша! Это было божественно! Это была чистая, беспримесная деконструкция французского псевдо-кутюра! Лиса у нас в кармане, купчиха сломлена, а каморка под лестницей… Что ж, для начала нашей промышленной экспансии подойдет и подвал! Главное – у нас есть доступ к телу высшего сословия! Врубай внутренний «Зингер», дорогуша, мы начинаем великий передел этого пушистого рынка!

Виктория Арнольдовна шла по темному коридору, чувствуя, как внутри её нового, девического тела всё сильнее разгорается тот самый горячий, магический уголек, который баба Марфа называла силой души. Она понимала, что первый шаг в этом дремучем прошлом сделан, и что впереди их с Марципаном ждет великая, сияющая софитами история.

Глава VI. Тайная мастерская под кроватью

Когда в огромном, пресыщенном тяжелой пищей доме купца Полуэктова наконец наступила та глухая, звенящая полночь, какая всегда извещает обывателя об окончании дневных трудов купеческого сословия, первый этаж флигеля огласился таким богатырским, раскатистым и мерным храпом самого хозяина, от которого тускло вибрировали тонкие фарфоровые чашки в запертом буфете малой гостиной.

В своей крошечной, сырой каморке под лестницей, где пахло мышами, старой известью и пролитым лампадным маслом, Виктория Арнольдовна сидела на узкой кушетке, поджав озябшие ноги, и прислушивалась к этому однообразному звуку, испытывая то особенное чувство сосредоточенного одиночества, которое всегда предшествует великим и тайным свершениям.

– Операция «От-Кутюр» начинается, дорогуша, – раздался из темноты под кроватью густой, манерный и заговорщический баритон Марципана.

Спустя мгновение из-под грязного подзора показалась его круглая, упитанная, кремовая фигура. Мышь двигался с той особенной, комичной осторожностью, какая бывает свойственна полным людям высшего света, принужденным обстоятельствами совершать поступки, не соответствующие их высокому званию. Он попытался грациозно взмахнуть лапкой, призывая Викторию к следованию, но, не рассчитав центра тяжести своего марципанового пузика, неловко покатился боком по дощатому полу и с глухим стуком ткнулся носом в Викины старые кожаные ботинки.

– О боже… Какой пассаж, – проворчал грызун, поспешно поднимаясь на лапы и с величайшим достоинством отряхивая пыль со своего круглого бока. – Это не падение, дорогуша, это был стратегический партер. Наш паркет, надо признать, совершенно лишен надлежащей полировки. Но довольно разговоров! Я проверил коридор. Поварской сурикат, нанюхавшись валерьяновых капель после тяжелой смены у плиты, спит беспробудным сном праведника. Путь к сундукам Акулины Федосеевны свободен. Иди за мной, но ради всего святого, не насту-

пай на свои новые длинные юбки, они производят совершенно несносный провинциальный шум!

Виктория Арнольдовна, едва удерживаясь от улыбки, на цыпочках скользнула вслед за своим упитанным напарником в темный коридор. В полумраке купеческого дома Марципан передвигался на удивление шустро, напоминая катящийся по паркету кремовый колобок, который то и дело замирал перед углами, важно задирая усы и прислушиваясь к шорохам.

Малая кладовая встретила их благородным, плотным ароматом сушеной лаванды, нафталина и дорогой заграничной мануфактуры. Замок на тяжелом кованом сундуке Акулины Федосеевны, по купеческой беспечности, оказался не заперт. Виктория Арнольдовна зажгла огарок свечи, и её дизайнерские глаза лихорадочно заблестели, когда она увидела содержимое сундука. Там лежали отрезы – точнее, огромные куски, которые купчиха со своим сорок восьмым размером опрометчиво считала «непригодными остатками».

– Взгляни, Марципан, – прошептала Вика, вытягивая тяжелый рулон. – Плотный лионский бархат глубокого изумрудного цвета! Какая плотность, какой ворс! А вот это – вологодское кружево ручной работы, тончайшее, точно весенний иней. Идеально для жабо. Тащи вон те перламутровые пуговицы с перламутровым отливом!

– Бегу, душа моя, – пыхтел Марципан, пытаясь удержать зубами тяжелую деревянную коробку с фурнитурой. – Но учти, если нас застукают за кражей этих пуговиц, я объявлю голодовку, расторгну наш контракт и уеду в Гатчину к приличным графиням. Помоги же мне, этот ящик весит больше, чем всё мое эстетическое терпение!

Вдруг, когда мышь усердно пятился назад, упираясь задними лапами в пол, коробка выскочила из его пасти, и десяток крупных перламутровых пуговиц с сухим, дробным стуком раскатился по полу кладовой. Один из круглых кругляшей покатился прямиком к выходу.

– Лови её! Лови! Это чистый винтаж! – в панике зашипел Марципан, бросаясь наперерез пуговице всем своим круглым телом.

Он совершил отчаянный прыжок, накрыл пуговицу животом, но по инерции проехался по гладкому паркету кладовой и с размаху врезался головой в низкую полку, на которой стояли банки с купеческим крыжовенным вареньем. Банки угрожающе зазвенели. Марципан замер на спине, раскинув лапки, с пуговицей, намертво прижатой к его кремовому пузику, и испуганно прошептал:

– Вика… Скажи мне, что это был звук разбитого сердца француза Мориса, а не банка с вареньем, иначе наше ателье закроется до первого показа.

Слава богу, банки устояли. Спустя двадцать минут, нагруженные текстильными сокровищами, заговорщики благополучно вернулись в свою каморку. Виктория Арнольдовна расстелила изумрудный бархат прямо на полу, и в её руках, истосковавшихся по настоящему делу, откуда-то появились старые, тяжелые портновские ножницы покойной матушки Агафьи.

– Ну и как ты собираешься кроить без примерного манекена, кутюрье без портков? – спросил Марципан, с трудом взбираясь на кушетку и усаживаясь там в позу строгого экзаменатора. – Лиса – существо нервное, у неё линия талии меняется три раза на дню в зависимости от настроения и съеденных рябчиков.

В этот самый момент деревянная дверь каморки тихонько, со слабым скрипом приоткрылась, и в узкую щель просунулась изящная, острая рыжая мордочка с серебристыми подпалинами на ушах.

– Кто это смеет рассуждать о моих рябчиках и моей талии? – Аделаида Николаевна скользнула в комнату бесшумно, точно рыжая тень, и аккуратно притворила за собой дверь хвостом. – Я, между прочим, всё слышу. Мой слух безупречен, в отличие от чувства стиля моей хозяйки. Ну, показывайте, что вы тут задумали, полуночники? Если это опять будет чехол из парчи, я за себя не ручаюсь.

Марципан, мгновенно позабыв о своем недавнем позорном падении у банок с вареньем, подобрался, расправил плечи, втянул свое круглое пузико (насколько это было физически возможно для его марципанового естества) и принял максимально элегантную, светскую позу.

– Мадам Аделаида, – приглушенным, бархатным баритоном пропел мышь, галантно склонив голову. – Вы явились в самый священный миг. Наша кутюрье как раз готовится совершить акт великой исторической справедливости. Взгляните на сей изумрудный бархат! Он создан самой природой для того, чтобы подчеркнуть глубину ваших янтарных глаз и благородство серебряного отлива на ушках. Прошу вас, соблаговолите взойти на наш импровизированный подиум. То есть, на эту кушетку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.